

ДНЕВНИК
(фрагмент)

7 января 1951 года
Похороны Андрея Платонова

Сегодня хоронили Андрея Платонова. По дороге на кладбище, возле клуба, я прихватил Атарова, беседовавшего со смертью в козлином манто — Ниной Емельяновой. Я прервал их в тот момент, когда Емельянова говорила тоном, в котором лишь электронный микроскоп мог бы обнаружить фальшь:

— Я творчески чувствую этот материал...

— Тогда делайте! — благословил Атаров, которому нестрашен даже электронный микроскоп.

Наше рукопожатие и звучание первых слов были поневоле скорбными. Скорбь не была окрашена в личные тона, самая пошлая, традиционная скорбь, но все же Атаров испугался. Я это почувствовал по тому, как сразу огрубело его проникновенно-серьезное, чуть патетическое лицо.

Я имел бестактность сказать:

— Третья смерть на одной неделе.

— Почему третья? — спросил он резко.

— Митрофанов, Платонов, Кржижановский.

Он впервые слышал о смерти Кржижановского. Он жалел о том, что сел со мной в машину. Он стал похож на мясника. И вдруг лицо его опять стало глубоким, проникновенно-серьезным и патетическим:

— Это доказывает, какая у нас богатая литература, — сказал он, и — о, умный человек, — тут же внес тот оттенок либерального ворчания, без которого его слова были лишены искренности. — Мы сами, черт возьми, не знаем, какая у нас богатая литература!..

Приехали в тот момент, когда гроб вынимали из автобуса. Я впервые был на похоронах, и меня корбило от неуклюжести всех подробностей похоронного обряда. Зачем гроб такой тяжелый, когда в нем лежит такое легкое, бесплотное тело, что я один мог бы отнести его на руках к могиле? А здесь десять человек не могли управиться с каменной громадой гроба. Они чуть не грохнули его оземь и едва не перевернули вверх дном. По пути к могиле гроб наклонялся то в одну, то в другую сторону, и мне казалось, что бедное тело Платонова, невидное за какими-то зелеными растениями, непременно вывалится в снег...

Этого самого русского человека хоронили на Армянском кладбище. Мы шли мимо скучных надгробий с именами каких-то Еврезянов, Абрамянов, Акопянов, Мкртчянов, о которых мы знали только то, что они умерли.

Украшение похорон, Твардовский, — присутствие которого льстило всем провожающим Платонова в последний путь, — то ли изображая пытливого художника, то ли от крайней неинтеллигентности, которой всё внове, с вдумчивым уважением разглядывал безвкусные статуэтки на могилах наиболее состоятельных Еврезянов и Акопянов.

Близ открытой могилы с деревянными уродливыми козлами — приспособление для спуска гроба — на скамейке, под заснеженным деревом, сидел страшный человек. Чудовищный по резкости черт и по величине профиль, совершенно съевший фас, был увенчан шапкой, в кото-

рой, верно, щеголял печорский антик в день предполагаемого торжества «правой веры». Из-под коротких рукавов кожаного пальто торчали худые огромные кисти, которыми человек охватил свое единственное колено, как последнее достояние. Человек этот не подходил ни под какую мерку, не имел отношения ни к кому и ни к чему на свете, и не из-за своей несовременности, хотя каменная дева с амфорой над могилой Еврезяна, почившего в 1783 году, казалась ультрасовременной по сравнению с этим человеком, а из-за своей вневременности и всевременности, что, в сущности, одно и то же. Впечатление от человека лучше всего передать словами одного из сородичей покоящихся здесь Абрамянов и Мкртчянов, который при виде жирафа сказал:

— Такой не бывает!

Рядом с человеком стоял юный поводырь с плоским, словно раздавленным лицом.

Не было ни одного признака в этом человеке, который поставил бы его в разряд постигаемых явлений. И лишь отсутствие одного признака — ноги — позволяло угадывать за всей этой инфернальностью быт: войну или несчастный случай. В расчете на это я ответил на поклон человека, не испытывая слишком большого страха, что навсегда лишусь благоволения Твардовского, Атарова и Ария Давыдовича, неизменного могильщика Союза писателей.*

Гроб поставили на землю, у края могилы, и здесь очень хорошо плакал младший брат Платонова, моряк, прилетевший на похороны с Дальнего Востока буквально в последнюю минуту. У него было красное, по-платоновски симпатичное лицо. Мне казалось: он плачет так горько потому, что только сегодня, при виде большой толпы, пришедшей отдать последний долг его брату, венков от Союза писателей, «Детгиза» и «Красной Звезды», он поверил, что брат его был, действительно, хорошим писателем. Что же касается вдовы, то она слишком натерпелась горя в совместной жизни с покойным, чтобы поддаться таким «доказательствам»...

Плакал — над собой — Виктор Шкловский, морща голое обезьянье личико. Плакал Ясиновский, но только оттого, что всё так хорошо получается: Платонов признан, справедливость торжествует, и, значит, он, Ясиновский, недаром «проливал свою кровь» на баррикадах семнадцатого года.

Затем вышел Ковалевский, старый мальчик, и сказал голосом ясным, твердым, хорошо, по-мужски взволнованным:

— Андрей Платонович! — это прозвучало, как зов, который может быть услышан, а возможно, и был услышан. — Андрей Платонович, прощай. Это просто русское слово «прощай», «прости» я говорю в его самом прямом смысле. Прости нас, твоих друзей, любивших тебя сильно, но не так, как надо было любить тебя, прости, что мы не помогли тебе, не поддержали тебя в твоей трудной жизни. Андрей Платонович, прощай!..

Это было по-настоящему прекрасно, и каждый ощутил в своей душе, каюсь, я чуть было не сказал «стыд», — умиление и восторг, и чувство собственного достоинства. Вот можно же такое сказать! И никто не схватил Ковалевского за руку, и черный ворон не слетел к отверстой могиле! Лишь один Атаров, вновь ставший похожим на мясника, верно, подумал: «Зачем я поехал!»

Потом гроб заколотили и неуклюже, на таях, стали спускать в могилу. Его чуть не поставили на попа и лишь с трудом выровняли...

Ковалевский хорошо и трудолюбиво, как и всё, что он делал на похоронах, лопатой стал закапывать гроб. Я вспомнил, что сына Ковалевского зовут Иорик, и назойливо и банально мне в башку полезла пресловутая сцена из «Гамлета». И хотя всё было грустно, просто и серьезно, я с упрямством убеждал себя, что отец Иорика — вылитый шекспировский гробокопатель. Я с трудом удерживал в себе смех, а потом мне стало так больно за мою сухость, бедность и бездарность, что я, не разобрав поначалу истоков боли, решил, что это и есть то чувство, которого я столько времени безнадежно ждал, и мигом успокоился.

* Человеком этим был замечательный писатель Борис Лунин, чья книга «Неслучайные заметы» вышла в Италии, а у нас печатались только отрывки.

— А Фадеев тут есть? — спросил меня какой-то толстоногий холуй из посторонних наблюдателей.

— Нет, — ответил я и самолюбиво добавил: — Твардовский есть.

— Игде? — спросил холуй.

— Вон тот, в синем пальто, курит.

Кстати о Твардовском. Один из лучших видов воспитанности — крестьянская воспитанность. К сожалению, она проявляется лишь в таких важных и крайних случаях, как рождение или смерть. Все присутствующие на похоронах евреи, а их было большинство, находились в смятении, когда надо снять, а когда одеть шляпу, можно ли двигаться, или надо стоять в скорбном безмолвии. Твардовский же во всех своих действиях был безукоризнен. Он точно вовремя обнажил голову, он надел шапку как раз тогда, когда это надо было сделать. Он подошел к гробу, когда стоять на месте было бы равнодушием к покойнику, он без всякого напряжения сохранял неподвижность соляного столпа, когда по народной традиции должен пролететь тихий ангел. Он даже закурил уместно — словно дав выход суровой мужской скорби.

Когда комья земли стали уже неслышно падать в могилу, к ограде продрался Арий Давыдович и неловким, бабьим жестом запустил в могилу комком земли. Его неловкий жест на миг обрел значительность символа: последний комок грязи, брошенный в Платонова.

Наглядевшись на эти самые пристойные, какие только могут быть похороны, я дал себе слово никогда не умирать...

На обратном пути я встретил Виноградскую, делавшую вид, что она подурнела только что — от горя.

Мы вместе поехали домой.

А дома я достал маленькую книжку Платонова, развернул «Железную старуху», прочел о том, что червяк «был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой старик», и заплакал...